

К.Поливанов (Высшая школа экономики, Москва)

Неизвестное письмо Бориса Пастернака

Больше пяти десятилетий Евгений Борисович Пастернак вместе со своей женой Еленой Владимировной непрестанно занимались кропотливым и плодотворным трудом – собирания и публикации материалов об отце, изданием его книг.

Все началось с участия в подготовке первого издания стихотворений в «синей» «Библиотеке поэта» (позже он стал вместе с В.С. Баевским составителем и комментатором двух изданий третьей «зеленой» серии). В 1966 был составлен и выпущен изящный рыже-коричневый сборник «Стихи» с факсимильным воспроизведением подписи автора на обложке, а за последние двадцать пять лет стараниями Евгения Борисовича было выпущено множество разных изданий Пастернака, самым значительным из которых стало фундаментальное собрание сочинений и писем в одиннадцати томах.

В семидесятых-восемидесятых Евгений Борисович всеми силами старался добиться публикации в России романа «Доктор Живаго» - книги, которую автор считал главным делом своей жизни. Однако ни в сборник прозы «Воздушные пути», ни в двухтомник «Избранного» 1985 года роман включить так и не удалось. Роман впервые с подготовленными вместе с В.М. Борисовым сопроводительными материалами удалось опубликовать только в первых номерах журнала «Новый мир» в 1988 году.

Однако говоря о публикациях Бориса Пастернака, нельзя забыть и еще одного их направления. Множество его писем представляют собой не только важнейший документ эпохи и незаменимый материал для восстановления картины культуры века, но и проявление удивительно своеобразной мысли, языка, взгляда мир гениального художника. Писавшиеся с конца 1900-х и до 1960 года все вместе и каждое по отдельности они занимают абсолютно уникальное место в русской, и наверное шире – европейской культуре XX столетия. Никто не сделал для публикации этих писем столько, сколько посчастливилось сделать Евгению Борисовичу.

В 1970-е годы настоящим событием стало сперва только заграничное, увы, издание переписки с двоюродной сестрой – филологом Ольгой Михайловной Фрейденберг. Но экземпляры «тамиздатской» книги, попадая в СССР, оказывалась в центре русской интеллектуальной жизни тех лет.

В этой книге письма обоих корреспондентов перемежались выдержками из записей Фрейденберг и пояснениями Евгения Борисовича и Елены Владимировны. Позже таким же образом были построены и книги «Письма к родителям и сестрам» и книга «Существованья ткань сквозная», куда Евгений Борисович включил переписку своих родителей и письма отца к нему, окружив эти письма своими воспоминаниями.

Здесь хочется в память о Евгении Борисовиче предложить публикацию одного несохранившегося (или пока не найденного) письма его отца. Оно было адресовано будущей второй жене поэта – Зинаиде Николаевне Нейгауз. Письмо однако не сохранилось в фонде Российского Государственного архива литературы и искусства, в отличие от других автографов писем к Зинаиде Николаевне, на основе которых в 1993 было подготовлено два отдельных книжных издания «Письма Б.Л. Пастернака к жене З.Н. Нейгауз-Пастернак» и «Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания».

У публикуемого текста особая история. Осенью 1941 года письма 1930-1935 годов Пастернака к Зинаиде Николаевне в спешке сборов в эвакуацию остались в московской

квартире. Екатерина Николаевна Берковская по поручению Пастернаков нашла эти письма, и прежде чем передать их владелице, переписала их. Все остальные письма после смерти З.Н. были переданы в тогдашний Центральный архив литературы и искусства (ныне РГАЛИ) Софьей Прокофьевой¹ и опубликованы в двух изданиях в 1992 году. Однако письма от 27 января 1931 среди них не было.

Приводим его текст:
27/1/31 Общежитие, утро.

Мой друг и ангел. Ты часто говоришь, что все это добром не кончится, что конец был бы избавлением. Я давно тебе признался, что без тебя я не буду жить. Ты сейчас звонила мне сюда. Утром до твоего звонка я встал с такой вот сложившейся у меня к тебе просьбой.

Нам надо кое о чем уговориться.

Если тебе станет когда-нибудь так плохо, что насильственный конец станет для тебя единственным выходом, мы сделаем это вместе, и первым из нас – я на твоих глазах. Я не верю в такие выходы и их всей своей природой отрицаю. Но то будет совсем другой случай. Я приму это, любимая моя Лялочка, как часть твоей судьбы, от которой меня нельзя отделить. И после того, как я это сделаю, тебе можно и нужно будет остаться, потому что тогда я весь стану тобою, и тебе по-легкому и хорошему захочется побыть с этим среди людей. И новая какая-нибудь твоя жизнь, которая придет на смену этой памяти, не будет изменой, а радостным превращением твоей верности. И какое это будет ликование, когда я из веры в самоубийство переведу тебя в ту истинную, в глазах которой самоубийство – идолопоклонство. Позволь мне быть в этом союзе с тобой. В ряду знакомых форм, о которых говорит И<рина>.С<ергеевна>². Женя и постоянно будут нам твердить другие, я не встречаю на пути к тебе ни одной, которая так бы охватывала меня, как форма брака, заключающаяся в этой просьбе и клятве. Даю ее тебе навсегда на все случаи. Где бы и зачем бы ни застало нас обоих нас обоих твое отчаянье, вспомни, вызови и дождись. Ты убьешь и оскорбишь меня, если мне в этом откажешь» .

Письмо это было написано в сложнейший момент драматических отношений Пастернака с первой женой – Евгенией Владимировной и будущей второй. Немного предыстории: лето 1930 по приглашению новых друзей - Ирины Сергеевны и Валентина Фердинандовича Асмусов, Пастернак с первой женой и сыном провел по соседству с семьей пианиста Генриха Густавовича Нейгауза в дачном поселке Ирпень под Киевом. Одновременно с родившейся тогда же многолетней дружбой с Нейгаузом, возникло чувство поэта к жене друга – Зинаиде Николаевне. Позже в воспоминаниях она так описывала историю приход Пастернака в их дом осенью того же года: «Он зашел в кабинет к Генриху Густавовичу, закрыл двери, и они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежала рукопись двух баллад. Одна была посвящена мне, другая – Нейгаузу. Оба стихотворения мне страшно понравились. Генрих Густавович запер дверь и сказал, что ему надо серьезно поговорить со мной. Оказалось, Борис Леонидович приходил сказать ему, что он меня полюбил и что это чувство у него никогда не пройдет. Он еще не представляет себе, как все это сложится в жизни, но он вряд ли сможет без меня жить. Они оба сидели и плакали оттого, что очень любили друг друга и были дружны.

Я рассмеялась и сказала, что все это несерьезно. Я просила мужа не придавать этому разговору никакого значения, говорила, что этому не верю, а если это правда, то все скоро

¹ Прокофьева С. Несколько слов о судьбе писем Бориса Леонидовича Пастернака к Зинаиде Николаевне Пастернак // Письма Б.Л. Пастернака к жене З.Н. Нейгауз-Пастернак. М., 1993. 5-7.

² И.С. Асмус

пройдет»³.

В январе 1931 Пастернак покидает семью, соответственно уйдя из своей квартиры на Волхонке, живет сначала у Асмусов, потом в квартире Пильняка, в мае первая жена с сыном уезжают в Германию, лето 1931 года он уже соединившись с Зинаидой Николаевной и ее сыновьями проводит по приглашению своих друзей в Грузии, а вернувшись в Москву поселяются на Волхонке.

Публикуемое письмо относится, соответственно, к моменту ухода Пастернака от семьи и, как можно догадаться, мучительных колебаний Зинаиды Николаевны. В другом, уже публиковавшемся прежде письме от 19 февраля 1931 можно обнаружить указание на едва ли не это самое несохранившееся письмо. Пастернак писал там: «Мне пришло в голову приложить к этой записке то письмецо, которое я написал однажды утром у Асмусов и потом днем рассказал тебе на словах проездом домой к тебе на извозчике. Помнишь? Оно было набросано карандашом по черновой рукописи Охр<ранной> Гр<амо>ты. Я не мог писать его отдельно на почт<овой> бумаге, потому что стол стоял у дверей, мимо ходили, я работал на виду и писание письма бросилось бы в глаза И.С. Теперь я его тебе перепишу. Читая его, припомни, какое это далекое прошлое. Я чуть не назвал его сейчас грустным. Нет, неправда: это было уже мое нынешнее счастье, во всей его настоящей силе, но еще в недоуменной, гадательной близости. Тогда говорила одна душа, и ничего еще не было дано ей в подмогу. А теперь мне хочется бросать в помощь ей все больше и больше телесных опор: себя, Грузию, юг, и радость, и горы, и волшебство работы. Моей любви к тебе, которой так недавно приходилось одним движеньем губ исполнять Вагнера, мне хочется подарить теперь целый лейпцигский оркестр. И еще о письме. Клятва, в нем содержащаяся, остается в силе. Это все еще одно из наших будущих, выбор которых в твой воле. Но как хочется мне, чтобы ты выбрала жизнь, и горный край, и радость! Сейчас перепишу письмо. До вечера, друг мой. Б.»⁴

Публикуемое письмо, как впрочем и значительная часть остальных писем Пастернака к жене, конечно, производит впечатление очень интимного текста, что при этом несколько не отменяет его включенности в систему поэтических и прозаических текстов поэта, содержащихся в них системы представлений.

Борис Эйхенбаум в своей ранней блистательной работе «Молодой Толстой» сформулировал возможность историко-литературного подхода к таким документам, как письма и дневники, предлагая не извлекать из них биографический, социальный или «психологический» материал, а устанавливая их внутреннюю смысловую структуру и логику. Искать для них место среди других художественных текстов, одновременно выясняя и их литературную генеалогию.⁵

Попробуем посмотреть на эти два письма с точки зрения «оформления душевной жизни» (по определению Эйхенбаума), в той степени, в какой их содержание корреспондирует с текстами Пастернака, где речь так или иначе заходит о самоубийстве, о

³ Там же с. 8-9.

⁴ Там же, С. 19-20

⁵ «Совсем иные методы должны употребляться при анализе литературном. В этом случае форма и приемы самонаблюдения и оформления душевной жизни есть непосредственно-важный материал, от которого не следует уходить в сторону. Здесь, именно в этой стилистической оболочке, в этих условных формах, можно усмотреть зародыши художественных приемов, заметить следы определенной литературной традиции. Исходя из убеждения в том, что словесное выражение не дает действительной картины душевной жизни, мы должны как бы *не верить* ни одному слову дневника и не поддаваться соблазнам психологического толкования, на которое не имеем права. Мы должны суметь воспользоваться именно этим «формальным», верхним слоем — особенно если перед нами такие дневники или письма, в которых можно заранее ожидать вмешательства творческой и, тем самым, искажающей непосредственную душевную жизнь работы над своим «я». К таким документам надо относиться с особенной осторожностью, чтобы не впасть в простую психологическую интерпретацию того, что весьма далеко от чистой психологии. Смешение этих двух точек зрения ведет к серьезным ошибкам, упрощая явление и вместе с тем не приводя ни к каким плодотворным обобщениям» Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет. М., 1987. С. 36

самоубийствах поэтов, о жизни и смерти в связи с творчеством.

Действительно, в обоих письмах речь идет о клятве, о выборе между жизнью и смертью. Из первого письма становится ясно, что это была за клятва. Представляются чрезвычайно значимыми слова «Я не верю в такие выходы и их всей своей природой отрицаю». Если вспомнить, что письмо писалось не только одновременно с последней частью повести «Охранная грамота», посвященной самоубийству Владимира Маяковского, но возможно, даже на оборотах ее черновиков, то слова об «отрицании» стоит связать с одной из глав, где Пастернак писал и об этой гибели и о том, как еще в 1910 годах искусство «оберегало» поколение сверстников поэта от самоубийства:

«Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас...»⁶.

Тема преодоления смерти усилиями творчества (в первую очередь поэтического) – одна из главных тем уже первой книги стихотворений Бориса Пастернака «Близнец в тучах» 1913 года, практически полностью посвященной теме творчества. Миф о Касторе и Поллуксе, лежащий в основе и заглавия и центрального стихотворения книги «Близнецы», миф о бессмертии, которое даруется одному брату другим ценой собственной смерти. В подтексте нескольких стихотворений книги Рональд Вроон⁷ предлагает увидеть стихотворение Тютчева «Близнецы», где близнецами становятся главные темы нашего письма «самоубийство и любовь»:

...Но есть других два близнеца —
И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней,
Ей предающего сердца...

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

О разгадке смерти и ее преодолении, как одной из главных задач искусства продолжает Пастернак только что цитированный фрагмент «Охранной грамоты»:

«За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть

⁶ Пастернак Б. Собр. соч. в 11 тт. М., 2004. т. 3. С. 210

⁷ Вроон Р. Знак близнецов: Опыт интерпретации первого сборника стихов Пастернака (пер. с англ. М.Л. Гаспарова)// Пастернаковские чтения. Вып. 2. М., 1998. С. 342-343

историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпят портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти»⁸.

О том, что назначение искусства как раз и заключается в «творении жизни» вопреки смерти Пастернак пишет и в романе «Доктор Живаго»⁹.

Искусство в романе подобно христианству и тому, что Пастернак называет словом «история»:

«человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии».

И чуть дальше:

«Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором¹⁰, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме»¹¹.

Это слова Николая Николаевича Веденяпина, дяди главного героя романа, но и сам Юрий Живаго мысленно формулирует задачи искусства на языке этих же понятий:

«Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает»¹².

В письме Пастернак самоубийство, веру в самоубийство как выход обозначает, как идолопоклонство и противопоставляет ему жизнь как «новую веру». Именно в таком смысле можно понять заглавие написанной в начале 1930-х книги стихов – «Второе рождение». Пастернак противопоставляет в «Охранной грамоте» свой путь в искусстве пути Маяковского¹³:

«Все туманится, все закатывается и запропащется в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не *второе рождение*? Так это смерть?»¹⁴ - задает Пастернак вопрос в «Охранной грамоте», описывая «последний год поэта», сопоставляя этот последний год Маяковского с последними годами жизни Пушкина и Блока,

⁸ Пастернак Б. Собр. соч. в 11 тт. М., 2004. т. 3. С. 210

⁹ Напомним, что противопоставленный главному герою своим восприятием и отношением к жизни Павел Антипов (Стрельников) кончает жизнь самоубийством.

¹⁰ Здесь наверное вспоминается повторяющийся образ смерти поэта в стихах Блока: «Когда под забором в крапиве Несчастные кости сгниют, Какой-нибудь поздний историк Напишет внушительный труд» («Друзьям») и «Пускай я умру под забором как пес, Пусть жизнь меня в землю втоптала, Я верю, то Бог меня снегом занес, То вьюга меня целовала...» («Поэты»)

¹¹ Пастернак Б. Собр. соч. в 11 тт. М., 2004. т. 4. С. 13

¹² Там же, с. 91

¹³ В письме 26 декабря 1930 Пастернак, писал Зинаиде Николаевне, прочитав перед этим статью Джоржа Риви: «В статье – совпадение с моими мыслями последних дней. Перед статьей в строчку выписано: Blok 1921, Essenin 1925, Mayakovsky 1930 – даты смертей до братства близких, и еще не достаёт моей». - Письма Б.Л. Пастернака к жене З.Н. Нейгауз-Пастернак. М., 1993. с. 16-17. О неприемлемости выхода самоубийства Пастернак писал в 1926 и в стихотворении «Не оперные поселяне...» Марине Цветаевой, когда по ее письмам ему начинает казаться, что напряженный интерес корреспондентки к гибели Сергея Есенина может у нее саму толкнуть к этому шагу.

¹⁴ Пастернак Б. Собр. соч. в 11 тт. М., 2004. т. 3, 232

Пастернак как будто «не веря» в происшедшее самоубийство.

«Новая вера», противопоставленная самоубийству, как «идолопоклонству» это именно вера, построенная на любви, то есть иными словами христианство. В той же «Охранной грамоте» Пастернак писал, что «всякая любовь есть переход в новую веру»¹⁵.

Таким образом можно убедиться, что содержание публикуемого письма не просто соприкасается с содержанием стихов и прозы Пастернака, но его положения, как словесная фиксация собственного внутреннего опыта, составляют сердцевину его представлений о жизни и смерти, любви и искусстве, так как они сформулированы в его произведениях.

¹⁵ Там же, С. 184. Вспомним здесь слова из романа И.А. Гончарова «Обломов» о любви Агафьи Матвеевны: «Она как будто перешла в другую веру и стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинясь ее законам».